

К. В. Лошевский⁴

КОНЕЦ МОДЕРНА И СУДЬБА ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ НОВОЕВРОПЕЙСКИХ ПРАКТИК

Сорок лет назад, в 1979 году, Жан-Франсуа Лиотар опубликовал свое, наверное, самое известное сочинение «Состояние постмодерна», в котором описал целый ряд симптомов, свидетельствовавших об эпохальной трансформации европейской (в широком смысле) цивилизации в некий новый исторический и культурный статус. Успех сочинения Лиотара способствовал как широкой популярности самих терминов «постмодерн» и «постмодернизм», так и тому, что констатация завершения эпохи (как бы мы ее ни называли — Новым временем, модерном или как-нибудь еще), в которую сформировался конгломерат превратившихся для

⁴ Доцент кафедры философии и культурологии СПбГУП, кандидат философских наук. Автор более 60 научных публикаций, в т. ч.: «Этический и идеальный референты имени в диалоге Платона „Кратил“», «Миметическая и идеальная природа имени в философии языка Прокла Диадох», «Топос утопии: пространственная метафорика в новоевропейском социальном конструировании», «Проблема воспитания в контексте социальной антропологии Просвещения», «„Новая феноменология“ Германа Шмитца», «„Критические исследования о человеческом уме...“ Соломона Маймона в контексте эволюции трансцендентального идеализма» и др.

нас в нечто само собой разумеющееся научных, художественных, политических, правовых и прочих практик, стала буквально общим местом. Наибольший резонанс «постмодернистский» поворот имел в области художественного творчества, однако все более очевидно, что его влияние затрагивает фундамент целостного новоевропейского мирозерцания.

Основу модерна составляет то, что Мишель Фуко назвал *volonté de savoir*, волей к знанию, подразумевающей *volonté de vérité*, волю к истине⁵, как модификацию ницшевской воли к власти. Воля к знанию развертывается в модерне прежде всего в форме новоевропейской науки, которая сама себя рассматривает как неангажированную добычу знания, нейтральную дескрипцию реальности, как природной, так и социальной⁶. Эта дескрипция предполагает фиксацию независимых от наблюдателя различий, на основании которой формируется сеть классификаций и таксономий, охватывающая каждый известный нам сегмент описываемой реальности. В рамках модерна эти различия (к ко-

⁵ Фуко М. Лекции о воле к знанию с приложением «Знание Эдипа»: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1970–1971 учебном году / пер. с фр. А. В. Дьякова. СПб.: Наука, 2016. С. 11.

⁶ Современное общество, собственно, потому и является современным, что в нем наука, маргинализовав религию, превратилась в важнейшую социальную практику, с которой так или иначе вынуждены соотноситься все остальные.

торым относятся и основополагающие дифференции природа/культура, человеческое/нечеловеческое, мужское/женское и т. д.) не проблематизируются в силу «объективности» методических средств их обнаружения. Как представляется, перед физиком и перед социологом стоит одна и та же задача: описание соответствующего объекта (сегмента реальности) с использованием в той же степени нейтрального инструментария.

Эта нейтральная дескрипция противопоставляется нарративным дискурсам (под нарративными здесь понимаются любые дискурсы, прагматика которых выходит за рамки верифицируемых констатаций и которые поэтому подразумевают определенный перформативный потенциал), в которых реальность не описывается, а конструируется. Такими являются художественный и, например, идеологический дискурсы, нейтральность которых не только не гарантирована, но и необязательна: они служат решению тех или иных персональных и социальных задач, а следовательно, заведомо вовлечены в игру различных сил и интересов. Более того, они представляют собой не артикуляцию методически организованного опыта, а результат «продуктивной способности воображения», порождающей новые объекты и причинно-следственные связи (в том числе и новые значимые различия).

Однако нейтральность научных дескрипций, подразаемаемая в качестве базового условия возможности научного дискурса как такового и его отличия от персонально или социально ангажированных нарративов, основывается не столько на реальности и объективности, сколько на идеологически обусловленном императиве, то есть на максиме воли, воли к власти. За нашим сенсорным опытом, вооруженным самыми изощренными средствами наблюдения, непременно должна крыться неподконтрольная нашим чувствам, разуму и желаниям фактичность, которую мы, ведомые волей к истине, лишь выводим из тени на свет («Факты — упрямая вещь» — эта фраза, произносимая следователями в плохих детективах, могла бы служить самым адекватным девизом эпохи). Но ретроспективный взгляд на историю науки показывает, что с первых своих шагов, с опытов Галилея и Герики, новоевропейская наука решительным и продуктивным образом вторгается в реальность, интерпретируя результаты этой инвазии как доступ к «природе, как она есть сама по себе». По словам Канта, знание превращается в подлинную науку лишь тогда, когда оно само начинает конструировать свой предмет, и это относится не только к математике, но и к эмпирическому естествознанию¹. Решающей предпосылкой формирования новоевропейского естествознания (послужившего моделью для всех прочих научных дискурсов) становится переход от пассивного, «естественного» наблюдения к активному экспериментированию, то есть конструированию определенных сегментов реальности («фабрикация фактов»)² с заранее предусмотренными свой-

ствами и последующей экстраполяцией моделируемых в этих сегментах процессов на всю реальность в целом. Тем самым подлежащая исследованию природа оказывается искусственным конструктом, креатурой человеческой рациональности, а открываемые наукой законы природы представляют собой не просто фиксацию каких-либо нейтральных данностей, а в буквальном смысле устанавливаются разумом, опирающимся на собственные конструктивные способности. Это означает, что референция объективной дескрипции попадает в зависимость от субъективных конструкций. Этот присущий новоевропейской науке конструктивизм обуславливает перформативный (в той или иной степени) характер научных дискурсов.

В еще большей степени это относится к социально-гуманитарным дисциплинам: согласно теореме Гёделя о неразрешимости, общество неспособно к самоописанию с помощью нейтральных и объективных средств и потому прибегает к искусственно генерируемым различиям (индивид/общество, общество/государство, социальное/природное), позволяющим наблюдателю занять внешнюю по отношению к нему позицию. Таким образом, любая социальная теория де-факто неотличима от идеологии (то есть ангажированного нарратива), ибо отказывается от рефлексии над проблемой тождества и поддерживает фикцию реальных различий.

Дескриптивность оказывается трудноотделимой от нарративной конструктивности, и поэтому декларируемая модерном нейтральность научных дискурсов становится все более проблематичной, превращаясь в предмет критики философов и методологов науки второй половины XX века от Людвика Флека до Брюно Латура. Именно в этой проблематичности во многом кроется как будущий кризис модерна, так и возможные стратегии его преодоления.

Более того, нейтральность фиксируемых наукой различий легитимирует их нормативность, устанавливая сеть дихотомий нормального и патологического, приемлемого и неприемлемого: первое должно культивироваться и воспроизводиться, второе — корректироваться, а в крайнем случае экстерминироваться. На фундаменте нейтральной научной истины выстраивается универсум различных новоевропейских практик, включающий практически все области человеческого действия: экономику, политику, право, литературу, искусство, средства массовой информации, семейные, межвозрастные и гендерные отношения, даже развлечения и спорт³.

Таким образом, не будет преувеличением сказать, что постмодерн вырастает из последовательного разоблачения мнимости нейтрального статуса дескриптивных дискурсов, в том числе и в первую очередь науч-

¹ Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н. Лосского сверен и отредактирован Ц. Г. Арзаканяном и М. И. Иткиным. М.: Мысль, 1994. С. 16.

² Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии / пер. с фр. Д. Я. Калугина. СПб.: Изд-во Европ. ун-та в С.-Петербурге, 2006. С. 77.

³ Пример из области политического: в поствестфальском государстве как репрезентанте *volonté generale* модерн видит агента реализации воли к истине, именно поэтому государство обладает монополией на правосудие, то есть на легальную репрессию; если же оно перестает рассматриваться в качестве такого агента и такого репрезентанта (поскольку эрозии подвергается само понятие «общей воли» как основания для политических и правовых решений), эта его монополия делегитимируется, а затем узурпируется заинтересованными социальными группами, которые пользуются ею пусть и не в такой брутальной форме, но достаточно эффективно.

ного, первоначально разворачивающегося в дискурсивном пространстве самого модерна. Согласно Лиотару, модерн характеризуется господством метанарраций, а постмодерн, напротив, — недоверием к ним: «нарративная функция теряет свои функторы»¹. Но это недоверие как раз и выражается в том, что нарративы воспринимаются именно как нарративы, не претендующие на универсальную нормативность, распространяясь в том числе и на дискурсы, отрицающие свой нарративно-конструктивный характер. Истины и данности разоблачаются как социальные конструкты, более того, само понятие «социальный» становится универсальным ключом к объяснению практически любых, в том числе физических и биологических, феноменов. Поэтому деструкция этой фикции нейтральности осуществляется посредством производства все новых социальных конструктов, назначение которых состоит в вытеснении и замещении объектов и отношений, с традиционной для модерна точки зрения находившихся по ту сторону общественных дисциплин (характерным примером в связи с этим является понятие «гендер» — это социальная конструкция, созданная для того, чтобы продемонстрировать тот факт,

что понятие «биологический пол» не просто имеет социальное измерение, а само есть не что иное, как социальная конструкция)².

Снимая различия между фиктивно нейтральной дескрипцией и ангажированным нарративом, постмодерн нарративизирует и социализирует любые дискурсы, тем самым нейтрализуя и десемантизируя само различие как таковое. Различие более не имеет значения в том смысле, что отныне не влечет за собой каких-либо серьезных последствий. В конечном счете это должно вести к реформатированию всего репертуара социальных (в максимально широком — постмодернистском — смысле) практик. В постсовременном мире борьба и конкуренция за ресурсы — материальные и символические — уже не может вестись на почве какой бы то ни было объективности, ее акторы лишены доступа к тезаурусу вечных или, по крайней мере, принимаемых за таковые истин. Они должны апеллировать исключительно к риторическому и аттрактивному потенциалу используемых ими дискурсов. Индикаторы этого эпохального поворота дают о себе знать в различных доменах постсовременного мира — от глобальной экономики и политики до интимных человеческих отношений.

¹ Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна / пер. с фр. Н. А. Шматко. СПб. : Алетейя, 1998. С. 4.

² Впрочем, постепенно выясняется, что «существование общества есть часть проблемы, а не ее решение... Оно больше не может рассматриваться как скрытый источник причинности, который якобы следует привлечь для того, чтобы объяснить существование и устойчивость какого-то другого действия или поведения». (Латур Б. Когда вещи дают отпор: возможный вклад «исследований науки» в общественные науки / пер. с англ. О. Столярковой // Социология вещей : сб. ст. / под ред. В. Вахштайна. М. : Территория будущего, 2006. С. 349.